

ОСИНАЯ
ФАБРИКА

Посвящается Энн

1. Жертвенные Столбы

В тот день, когда нам сообщили, что мой брат сбежал, я затеял обход Жертвенных Столбов. Я заранее знал: что-то должно произойти. Так подсказывала Фабрика.

На северной оконечности острова, возле заброшенного стапеля, где все еще поскрипывает на восточном ветру гнутая ручка ржавой лебедки, я вкопал на дальнем склоне последней дюны два Столба. Один из Столбов украшала крысиная голова и две стрекозы, а другой — чайка и две мыши. Когда я насаживал на место покосившуюся мышиную голову, в вечерний воздух с криком и карканьем взвились птицы и закружили над петлявшей между дюнами дорожкой, там, где она проходила неподалеку от их гнезд. Я покрепче насадил голову, взобрался на гребень дюны и достал бинокль.

По дорожке, налегая на педали и пригнув голову к рулю, ехал Диггс, полицейский из города; колеса велосипеда зарывались в мягкий песок. У моста он спешился, прислонил велосипед к тросам, дошел до середины подвесного пролета, где была калитка, и нажал на кнопку переговорного устройства. Постоял секунду-другую, поглядывая на тихие дюны и сажащихся птиц. Меня он не увидел, так хорошо я замаскировался. Наконец папа ответил на звонок. Диггс пригнулся к решетке, сказал пару слов, толкнул калитку и, перей-

дя на остров, двинулся к дому. Когда его скрыли дюны, я еще немного посидел в своем укрытии, задумчиво почесывая в промежности; ветер ерошил мне волосы, птицы возвращались в гнезда.

Я достал из-за пояса рогатку, выбрал полудюймовый шарик от подшипника, тщательно прицелился и навесом послал снаряд над рекой, телефонными столбами и маленьким подвесным мостом, ведущим на наш остров. С едва слышным звоном шарик угодил в табличку «Проход воспрещен — частная собственность», и я улыбнулся. Хороший знак. В подробности Фабрика, по обыкновению, не вдавалась, но у меня было ощущение, что она предупреждает о чем-то важном, и еще я чувствовал, что новость будет неприятной, но у меня хватило ума понять намек и пойти проверить Столбы, и теперь я знал, что меткости, по крайней мере, не утратил; так что пока все при мне. Я решил сразу домой не возвращаться. Отец не любил, когда я бывал дома во время визитов Диггса, да и все равно мне еще надо было проверить парочку Столбов, пока не село солнце. Я вскочил, съехал по песчаному склону в тень у подножия дюны и обернулся посмотреть на Столбы, стерегущие подступы к острову с севера. Тельца и головки, насаженные на сучковатые ветви, смотрелись вполне удовлетворительно. Ветерок приветственно колыхал черные ленточки, привязанные к веткам. Все обойдется, решил я; надо будет завтра вытянуть из Фабрики побольше. Вдруг и отец что-нибудь расскажет, если повезет, а если уж очень повезет, то, может, он даже врать не будет.

Когда стустилась тьма и на небе выступили первые звезды, я оставил мешок с дохлятиной в Бункере. Птицы подсказали мне, что Диггс уже несколько минут как ушел, так что я кратчайшим путем пробежал к дому,

где, как обычно, горели все огни. Отец встретил меня на кухне.

— Только что был Диггс. Ты, наверно, в курсе.

Он сунул толстую недокуренную сигару под струю холодной воды и, когда та громко зашипела и потухла, бросил размокший окурок в мусорное ведро. Я пристроил свое хозяйство на большом столе, выдвинул стул и, пожав плечами, уселся. Отец включил газ под кастрюлей с супом, приподнял крышку, оценивающе глянул на варево и отвернулся от плиты.

Примерно на уровне плеча в кухне висело облако синевато-серого дыма с широкой прорехой, образовавшейся, видимо, когда я вошел через двойные двери заднего крыльца. Пока отец буравил меня взглядом, прореха успела затянуться. Я поерзал на стуле, потом опустил глаза и затеребил резинку черной рогатки. От меня не ускользнуло, что вид у отца обеспокоенный, но отец хороший актер, и не исключено, что он просто хотел внушить мне такое впечатление, и потому я воспринял это скептически.

— Пожалуй, тебе лучше узнать, — сказал он, снова отвернулся, взял деревянную ложку и помешал суп. — Речь об Эрике.

Тогда я понял, что случилось. Он мог не продолжать. По идее, можно было бы подумать, что мой сводный брат умер, или заболел, или с ним что-то произошло, — но наверняка Эрик опять что-нибудь натворил; а натворить он мог только одно, что обеспокоило бы отца до такой степени: он сбежал. Вслух я не сказал ничего.

— Эрик сбежал из больницы. Диггс заезжал предупредить. Они думают, он может направиться сюда. Убери это со стола, сколько можно говорить. — Он попробовал суп, по-прежнему стоя ко мне спиной. (Я дождался, когда он начнет оборачиваться, и только тогда

убрал со стола рогатку, бинокль, саперную лопатку.) — Сомневаюсь, правда, чтобы он добрался так далеко, — продолжал отец тем же глухим тоном. — Наверно, через день-другой его поймают. Лучше, если ты будешь знать. Вдруг еще кто-то услышит и что-нибудь скажет. Достань тарелку.

Я подошел к буфету, достал тарелку, вернулся к столу и сел, подогнув под себя ногу. Отец продолжал помешивать суп, запах которого начал пробиваться сквозь сигарный дым. В животе у меня вскипало возбуждение — щекочущий прилив безудержной радости. Значит, Эрик возвращается; это хорошо, но и плохо тоже. Я был уверен, что он доберется. У меня и мысли не возникало спросить об этом Фабрику; он будет здесь, и точка. Интересно, сколько времени займет у него дорога домой и не придется ли Диггсу обходить городок, оповещая всех о том, что помешанный парень, который жег собак, опять на воле — держите, мол, своих бобиков под замком!

Отец налил мне супа. Я подул на него и подумал о Жертвенных Столбах. Столбы — это моя система раннего оповещения и одновременно средство устрашения: мощные зараженные штуки, которые преграждают доступ на остров. Эти тотемы — мой предупредительный выстрел; если, увидев их, кто-то все же решится ступить на остров, он должен знать, что его ждет. Но, судя по всему, вместо угрожающе стиснутого кулака они предстанут радушно протянутой ладонью. Для Эрика.

— Я смотрю, ты опять помыл руки, — сказал отец, когда я хлебал горячий суп.

Это он язвил. Он достал из кухонного шкафа бутылку виски и плеснул себе в стакан. Второй стакан, из которого, судя по всему, пил констебль, он поставил в раковину и сел напротив меня.

Мой отец — высокий и худощавый, правда, немного сутулится. Лицо у него тонкое, как у женщины, глаза черные. Сейчас он хромает, да и всегда хромал на моей памяти. Его левая нога почти совсем не сгибается, и, уходя из дома, он обычно берет трость. Когда сыро, он вынужден и дома пользоваться тростью, глухой стук которой разносится по коридорам, не покрытым ковровой дорожкой. Только здесь, в кухне, трости не слышно — плитняк заглушает.

Эта трость — символ безопасности Фабрики. Благодаря негнущейся отцовской ноге моим святилищем стал чердак — теплое уютное пространство на самом верху дома, где складывают хлам и старье, где витает в косых солнечных лучах пыль и где обитает Фабрика; ни звука от нее, ни скрипа — но она живая.

Отец не может подняться туда по узкой лестнице с верхнего этажа; а если бы и мог, я знаю, что ему не одолеть поворота вокруг дымоходов. Прямо же с лестницы на чердак не попадешь.

Так что чердак мой.

По моим подсчетам, отцу сейчас где-то около сорока пяти, хотя иногда он выглядит гораздо старше, а иногда, может, и чуть моложе. Он не говорит мне, сколько ему лет, — но на вид я дал бы ему примерно сорок пять.

— Какой высоты этот стол? — спросил он вдруг, когда я направился к хлебнице отрезать кусок хлеба, чтобы подтереть тарелку.

Я обернулся, недоумевая, с чего это он пристает ко мне с такими элементарными вопросами.

— Тридцать дюймов, — ответил я, доставая хлебную корку.

— А вот и нет. — И он довольно ухмыльнулся. — Два фута шесть дюймов.

Я нахмурился и стал собирать коркой коричневую кайму от супа. Было время — я до дрожи боялся этих идиотских вопросов; но теперь — не говоря уж о том, что успел, наверно, вызубрить длину, ширину, высоту, площадь и объем каждой комнаты и всей домашней утвари, — я распознал истинную природу этого отцовского наваждения. Когда у нас гости, становится неловко, даже если это родственники, которым, по идее, должны быть известны все его фокусы. Бывает, сидят они себе в гостиной, гадая, чем папа сегодня угостит их на ужин: чем-нибудь съедобным или только импровизированной лекцией о ленточных червях или о раке толстой кишки, — а он придвинется бочком к кому-нибудь, обведет взглядом комнату, проведя, все ли смотрят, и выдаст театральным шепотом:

— Видите вон ту дверь? В ней восемьдесят пять дюймов, от угла до угла.

А потом подмигнет и отправится куда шел или же как ни в чем не бывало развалится в кресле.

Сколько себя помню, по всему дому были расклеены ярлычки с аккуратными надписями черной шариковой ручкой. Прикрепленные к ножкам стульев, краям ковриков, донышкам кувшинов, радиоантеннам, телеэкранам, дверцам шкафов, спинкам кроватей, ручкам кастрюль и сковородок, они сообщали точные размеры того, на что наклеены. Даже цветочные листья не убереглись, правда, надписи были карандашными. Как-то в детстве я не поленился обойти весь дом и содрать все ярлычки до единого; меня отстегали ремнем и два дня не выпускали из моей комнаты. Позже папа решил, что для общего развития и для воспитания характера мне тоже будет полезно знать все эти размеры, поэтому я был вынужден часами просиживать над Книгой Размеров (толстеньким скоросшивателем, в точности фиксирующим данные всех ярлычков

по местонахождению и категориям объектов) или ходить по дому с блокнотом и производить замеры самостоятельно. И все это в дополнение к нашим обычным занятиям — математикой, историей и т.д. На игры времени почти не оставалось, чем я был крайне недоволен. Тогда у меня шла Война — Мидии против Дохлых Мух, если не путаю, — и пока я корпел в библиотеке над книгой, борясь со сном и зубря всю эту дурацкую систему мер и весов, ветер разносил мои мушиные армии по всему острову, а море, притопив мои ракушки, заносило их песком. К счастью, в скором времени отец охладел к этому грандиозному замыслу и довольствовался тем, что в любой момент мог с бухты-барачты поинтересоваться, какова, например, емкость подставки для зонтов (в пинтах) или общая площадь всех имеющихся в доме штор (в акрах).

— На эти вопросы я больше не отвечаю, — сказал я ему, ставя тарелку в раковину. — Давно бы пора перейти на метрическую систему.

Отец фыркнул в стакан, допивая виски:

— Гектары и прочая ахинея. Ни за что на свете. Там же все основано на измерениях земного шара. Я же сто раз тебе говорил — какой, к черту, шар!

Я вздохнул и взял яблоко из вазы на подоконнике. Однажды отец сумел внушить мне, что Земля — не шар, а лента Мебиуса. Он до сих пор утверждает, что верит в это, и периодически посылает лондонским издателям рукопись с изложением своей теории, устраивая из этого целый спектакль, но я-то знаю, что это он просто воду мутит и главное удовольствие получает, изображая потрясенное неверие, а затем благородное негодование, когда рукопись в итоге возвращается. И так примерно раз в квартал, без этого ритуала ему жизнь не в радость. По крайней мере, именно соображениями высокой теории он обосновывает неже-

вание переходить для своих дурацких измерений на метрическую систему, хотя на самом деле ему просто лень.

— Чем сегодня занимался? — спросил он, катая пустой стакан по деревянной столешнице.

— Да так, — пожал я плечами. — Гулял...

— Опять плотины строил? — глумливо оскалился он.

— Нет, — твердо ответил я и вгрызся в яблоко. — Сегодня нет.

— Надеюсь, хоть никого из тварей божьих не убивал.

Я снова пожал плечами. Естественно, убивал, иначе то как. Откуда еще я возьму черепа и тушки для Столбов и Бункера, если никого не убивать? Падали-то не напасешься, естественная убыль слишком низка. Впрочем, кому это объяснишь.

— Иногда мне кажется, что это тебя надо было упечь в больницу, а не Эрика.

Он смотрел на меня из-под насупленных бровей, голоса не повышал. Когда-то меня пугала такая манера разговора, но больше не пугает. Мне уже почти семнадцать, я не ребенок. По нашим шотландским законам я уже достаточно взрослый, чтобы жениться без согласия родителей, — уже год как. Допустим, жениться мне особого смысла нет, но тут важен принцип.

К тому же я — не Эрик; я — это я, и я здесь, так что и говорить нечего. Я ни к кому не пристаю, вот и мне пусть никто не мешает, если голова на плечах есть. Я-то ничьих собак не поджигал и не пугаю местных карапузов горстями личинок или полным ртом червей. Иной раз, может, кто из горожан и скажет: «Да у него винтика не хватает». Ну шутят помаленьку (самые злостные шутники при этом даже пальцем у виска не крутят) — пусть себе зубоскалят, мне-то что. Я нау-

чился жить со своей инвалидностью, и научился жить один, так что от меня не убудет.

Видимо, отец хотел съязвить; в обычной ситуации он бы такого не сказал. Наверно, его взволновали новости об Эрике. Думаю, он знал, так же как и я, что Эрик вернется, и его беспокоило, что будет дальше. Я его не виню, к тому же не сомневаюсь, что он беспокоился и обо мне. Я олицетворяю собой преступление, и если Эрик вернется и начнет баламутить, то может всплыть Правда о Фрэнке.

Я нигде не зарегистрирован. У меня нет свидетельства о рождении, нет номера государственного страхования, нет ни одной бумажки, которая подтверждала бы, что я вообще существую. Я знаю, что это преступление, и отец тоже знает, и, думаю, иногда он сожалеет о решении, принятом семнадцать лет назад, во времена своего хиппизма-анархизма или чего там еще.

В общем-то, я не в обиде. Так мне даже нравится, да и нельзя сказать, чтобы мое образование хромало. Стандартной школьной программой я владею, может, еще и лучше, чем большинство моих сверстников. Единственное, на что я мог бы попенять отцу, так это на недостоверность кое-каких полученных от него сведений. Когда я подросток и мог самостоятельно выбирать-ся в Портенейль и сидеть в библиотеке, отцу пришлось поумерить фантазию, но прежде он то и дело сбивал меня с толку, отвечая на мои искренние, пусть и наивные вопросы полной белибердой. Подумать только, я многие годы всерьез полагал, что Пафос — это один из трех мушкетеров, Феллацио — персонаж «Гамлета», Витриоль — город в Китае и что ирландские крестьяне дают ногами торф, когда делают «гиннес».

Как бы то ни было, сейчас я достаю до самых верхних полок в домашней библиотеке и в любой момент могу заглянуть в портенейльскую и проверить, не пу-